

Оноре де Бальзак Полковник Шабер

— Смотрите-ка, кто идет! Опять эта старая шинель к нам пожаловала!

Восклицание это вырвалось у юного писца из породы тех, кого в адвокатских конторах обычно зовут *мальчишками на побегушках*; он стоял, опершись о подоконник, и с аппетитом уплетал кусок хлеба; отщипнув немножко мякиша, насмешник скатал шарик и швырнул его в форточку. Пущенный меткой рукой, шарик подскочил почти до самой оконницы, стукнувшись предварительно о шляпу какого-то незнакомца, который пересекал двор дома по улице Вивьен, где проживал поверенный по делам г-н Дервиль.

— Хватит, Симонен, перестаньте дурачиться, а то я выставлю вас за дверь. Любой, самый бедный клиент, черт побери, прежде всего человек, — сказал письмоводитель, отрываясь от составления счета по судебным издержкам.

Обычно мальчик на побегушках — и Симонен не был исключением из общего правила — это юнец тринадцати — четырнадцати лет, который состоит в личном распоряжении письмоводителя и, бегая с повестками по судебным приставам и с прошениями в суд, выполняет частные поручения

своего шефа и разносит также его любовные записки. Повадки у него — как у всех парижских мальчишек, а его участь — участь судейских шелкоперов. Такой юнец обычно не знает ни жалости, ни удержу, он неслух, пересмешник, сочинитель куплетов, выжига, лентяй. И все же почти у каждого такого малолетнего писца где-нибудь на шестом этаже есть старушка-мать, с которой он делит тридцать или сорок франков — все свое месячное содержание.

— А раз он человек, так почему же вы прозвали его старой шинелью? — спросил Симонен с невинным видом школьника, подловившего учителя на ошибке.

И он вновь принялся за хлеб с сыром, прислонившись плечом к косяку окна, ибо, подобно почтовым лошадям, привык отдыхать стоя; и сейчас он стоял, согнув в коленке левую ногу и слегка опершись носком правого башмака.

— Какую бы шутку сыграть нам с этим чучелом? — вполголоса произнес Годешаль, третий писец, прервав ход доказательств, из коих рождалось прошение, которое он диктовал четвертому писцу, меж тем как два новичка-провинциала тут же изготовляли копии.

Затем он возобновил свою импровизацию:

— *...но по великой и многомудрой милости своей его величество король Людовик*

Восемнадцатый (последнее слово полностью, слышите вы, Дерощ, мудрый чистописатель!), *взяв в свои руки бразды правления, постиг* (а ну-ка, что он там такое постиг, этот жирный шут?) *высокую миссию, к выполнению коей был он призван божественным промыслом!..* (знак восклицательный и шесть точек — не бойтесь, судейские святоши возражать не станут!). *И первой заботой его явилось, что и следует из даты упоминаемого ниже ордонанса, урочевать раны, причиненные ужасными и прискорбными бедствиями революционного времени, восстановив верных и многочисленных слуг своих* (многочисленных — это должно польстить в суде!) *во владении всем непроданным их имуществом, буде оно находилось в общественном пользовании, в обычном или чрезвычайном владении казны, буде, наконец, в дарственном владении общественных учреждений, ибо мы с полным на то основанием утверждаем, что именно таков смысл и дух прославленного и справедливого ордонанса, изданного в...* Стойте-ка, — воскликнул Годешаль, обращаясь к писцам, — эта треклятая фраза расползлась на всю страницу! Так вот что, — продолжал он, проводя языком по корешку тетради, чтобы разнять склеенные листы толстой гербовой бумаги, — если вам хочется сыграть с ним шутку, давайте скажем, что наш патрон принимает

посетителей только от двух до трех часов утра. Посмотрим, приплетется ли тогда еще раз эта старая шельма! — И Годешаль вернулся к начатой фразе: — *...изданного в...* Готово? — спросил он.

— Готово! — откликнулись хором писцы.

Все — диктовка, болтовня и заговор — шло одновременно.

— *...изданного в...* Папаша Букар, каким же числом датирован этот ордонанс? Надо поставить точки над «і», канальство! Всё лишние страницы набегут!

— *Канальство...* — повторил один из писцов, прежде чем письмоводитель Букар успел ответить.

— Как, вы написали «канальство»?! — воскликнул Годешаль, бросив на новичка уничтожающий и в то же время насмешливый взгляд.

— Ну да, — ответил Дерош, четвертый писец, наклонившись над копией своего соседа. — Он написал: «Надо поставить точки над і» и «канальство» через два «н».

Все писцы разразились громким смехом.

— Значит, вы, господин Гюре, полагаете, что канальство — термин юридический, и еще имеете смелость утверждать, что вы родом из Мортани! — ввернул Симонен.

— Подчистите эту фразу, да хорошенько, —

сказал письмоводитель. — Ежели член суда, облагающий пощиной акты, заметит эти шуки, он решит, что мы не уважаем его бумагомарательства. Из-за вас, чего доброго, у патрона могут быть неприятности. Прошу вас, господин Гюре, впредь таких глупостей не писать. Нормандец обязан думать, когда он составляет прошения. Это, так сказать, альфа и омега нашего сословия.

— *...изданного в... в?..* — переспросил Годешаль. — Скажите же наконец, когда, Букар!

— В июне месяце 1814 года, — ответил письмоводитель, не отрываясь от своих бумаг.

Стук в дверь прервал на полуслове диктовку многословного прошения. Все пятеро писцов, крепкозубые, с блестящими насмешливыми глазами, подняли всклокоченные головы, обернулись к дверям и воскликнули нараспев:

— Войдите!

Один Букар продолжал спокойно сидеть, склонившись над грудой дел, именуемых на судейском жаргоне «мелочью», и составлял бесконечные счета по судебным издержкам.

Контора представляла собой просторную комнату со старинной печью — неизбежным украшением любого вертепа крючкотворства. Трубы, пересекавшие комнату по диагонали, сходились у заколоченного камина, на мраморной доске которого лежали куски хлеба, треугольные

сырки бри, свиные котлеты, стояли стаканы, бутылки, чашка шоколада, предназначавшаяся для старшего письмоводителя. Ароматы пищи так основательно смешивались с чадом от жарко натопленной печки, с непередаваемым запахом, свойственным адвокатским конторам и залежавшимся бумагам, что даже зловоние лисьей норы было бы здесь нечувствительным. На полу, там, где наследили писцы, расплылись грязные лужицы подтаявшего снега. Возле окна стояло бюро с выпуклой поднимающейся крышкой, за которым восседал сам письмоводитель. К бюро был приставлен небольшой столик для его помощника. Помощник сейчас как раз «занимался судом». Было примерно восемь — девять часов утра. Единственное украшение комнаты составляли огромные желтые афиши, извещавшие о наложении ареста на недвижимое имущество, об аукционах при распродаже наследства, окончательных и предварительных судебных решениях — словом, все славные трофеи юридических контор. За спиной старшего письмоводителя стоял большой, во всю стену, шкаф; полки его были битком набиты связками бумаг, с которых сотнями свисали ярлычки и кончики красных шнурков — своеобразное отличие судебных документов. На нижних полках шкафа хранились пожелтевшие от времени папки, оклеенные по корешку синей

бумагой, на которых можно было прочитать фамилии крупных клиентов, чьи лакомые дела «обстряпывались» в конторе. Грязные оконные стекла скупно пропускали дневной свет. Впрочем, в Париже вряд ли найдется контора, где можно писать без лампы февральским ранним утром, ибо все подобные места находятся в небрежении, что впрочем вполне понятно. Сюда заходят десятки людей, но ни один не задерживается здесь: банальное не привлекает ничьего внимания. Ни сам поверенный, ни его клиенты, ни его писцы не дорожат благообразием помещения, которое для одних — классная комната, для других — проходной двор, для хозяина — кухня. Засаленную мебель передают из одних рук в другие с такой благоговейной щепетильностью, что в некоторых конторах и поныне еще можно обнаружить корзинки для бумаг и особые мешки с завязками, восходящие еще ко временам прокуроров при «Шле» — так сокращенно называлось «Шатле», что обозначало при старом режиме суд первой инстанции.

Как и все адвокатские конторы, эта полутемная, покрытая слоем жирной пыли комната, внушавшая посетителям отвращение, принадлежала к самым гнусным уродствам Парижа. Правда, существуют в Париже такие клоаки поэзии, как промозглая церковная ризница, где молитвы

отсчитывают и продают, будто бакалейный товар, да лавчонка перекупщицы, где развешанное у входа тряпье умерщвляет все наши иллюзии жизни, показывая человеку, чем кончаются его радости, — но если не считать их, этих двух клоак, контора стряпчего — самое мерзкое из всех мест социального торга. Недалеко от них ушли игорные дома, суды, лотереи, злачные места. Почему? Быть может, потому, что драмы, разыгрывающиеся в душе человека, посетителя таких мест, делают его невосприимчивым к внешнему; этим же объясняется, быть может, невзыскательность великих умов и великих честолюбцев.

— Где мой ножик?

— Я завтракаю!

— Эх, черт, посадил на прошение кляксу!

— Тише, господа!

Все эти восклицания раздалось как раз в ту самую минуту, когда старый посетитель закрыл за собой дверь с той смиренной робостью, которая сковывает движения людей обездоленных. Незнакомец попытался было улыбнуться, но он тщетно искал хоть проблеска приветия на неумолимо безмятежных физиономиях писцов, и улыбка сбежала с его лица. Умея, должно быть, неплохо разбираться в людях, он с отменной вежливостью обратился к Симонену в надежде, что хоть этот юнец соблаговолит ему ответить.

— Могу я, сударь, увидеть вашего патрона?

Шалун ничего не ответил несчастному старику и только легонько постучал пальцами возле уха, как бы говоря: «Я глухой!»

— Что вам угодно, сударь? — спросил Годешаль, проглотив огромный кусок хлеба, которым можно было бы зарядить пушку, затем поиграл ножичком и закинул ногу на ногу так, что одна нога у него взлетела чуть ли не вровень с носом.

— Я прихожу сюда, сударь, в пятый раз, — ответил посетитель. — Мне хотелось бы переговорить с господином Дервилем.

— У вас к нему дело?

— Да, но я могу изложить его только самому господину...

— Патрон спит. Если вы хотите посоветоваться с ним по поводу каких-нибудь затруднений, приходите после полуночи, он только тогда всерьез принимается за работу. Но ежели вы пожелаете посвятить нас в ваше дело, мы поможем вам не хуже его.

Незнакомец не шелохнулся. Он смиренно и боязливо озирался вокруг, как собака, прощмыгнувшая украдкой в чужую кухню и ожидающая пинка. Одно из преимуществ профессии писца состоит в том, что ему не приходится опасаться воров; поэтому писцы г-на

Дервиля не заподозрили ни в чем дурном человека в шинели и не мешали ему обозреть помещение, в котором он тщетно искал, куда бы присесть, так как, видимо, был сильно утомлен. В конторе стряпчего умышленно не ставят лишних стульев. Пусть какой-нибудь клиент попроще, устав от долгого стояния, и поворчит, уходя из конторы, зато он не отнимет лишнего времени, которое, по выражению одного бывшего прокурора, еще до сих пор не «таксировано».

— Сударь, — ответил старик, — я уже имел честь предварить вас, что могу изложить свое дело только самому господину поверенному. Я подожду, когда он проснется.

Букар закончил свои подсчеты. Привлеченный запахом шоколада, он встал с плетеного кресла, подошел к камину, смерил старика взглядом и, присмотревшись к его поношенной шинели, соорудил неопишущую гримасу. Должно быть, он увидел, что, как ни жми этого клиента, из него не выжмешь ни сантима, и, желая избавить контору от невыгодного посетителя, решил вмешаться и положить конец разговору.

— Они сказали вам правду. Патрон работает только по ночам. Если у вас важное дело, советую зайти к нему в час ночи.

Старик растерянно взглянул на письмоводителя и, казалось, застыл на месте.

Привычные к прихотливой игре человеческих физиономий, к странным повадкам клиентов, в большинстве своем людей нерешительных и тяжелодумов, писцы забыли про старика и продолжали завтракать, шумно, как лошади, перемалывая челюстями пищу.

— Что ж, сударь, я зайду нынче вечером, — произнес старик, который с настойчивостью, присущей всем несчастным, хотел вывести лжецов на чистую воду.

Единственный вид мщения, доступный обездоленным, — поймать правосудие и благотворительность на недостойных увертках. Изобличив несправедливое общество, бедняк спешит обратиться к богу.

— Ну и упрямая же башка! — воскликнул Симонен, не дожидаясь, когда за стариком захлопнется дверь.

— Его как будто из могилы вырыли, — вставил один из писцов.

— Вероятно, это какой-нибудь бывший полковник, хлопчет о пенсии, — сказал письмоводитель.

— Ничего подобного, он просто бывший привратник, — возразил Годешаль.

— Хотите пари, что он из благородных? — воскликнул Букар.

— Бьюсь об заклад, что швейцар, — заявил

Годешаль. — Одни только отставные швейцары самой природой предназначены носить такие потрепанные, засаленные шинели с разодранными полами. Видели, какие у этого старика стоптанные, дырявые сапоги? А галстук? Галстук у него вместо рубашки. Да он наверняка под мостами ночует.

— Можно быть дворянином и отворять двери жильцам, — воскликнул Дерош. — Случается ведь!

— Нет, — возразил Букар среди дружного смеха, — бьюсь об заклад, что в тысяча семьсот восемьдесят девятом году он был пивоваром, а при Республике — полковником.

— Что ж, если он когда-нибудь был военным, я проиграл пари и поведу вас всех на какое-нибудь представление.

— Ладно, — ответил Букар.

— Сударь, сударь! — закричал юный Симонен, распахивая окошко.

— Что ты там опять затеял, Симонен? — спросил Букар.

— Я позвал его, чтобы спросить, полковник он или привратник. Пускай сам скажет.

Писцы так и покатались со смеху. Тем временем старик уже поднимался по лестнице.

— А что мы ему скажем? — воскликнул Годешаль.

— Предоставьте это мне! — заявил Букар.

Несчастный старик робко вошел в комнату, не

поднимая головы, чтобы при виде еды не выдать себя голодным блеском глаз.

— Сударь, — обратился к нему Букар, — не сообщите ли вы нам вашу фамилию на тот случай, если патрон пожелает узнать...

— Шабер.

— Шабер? Уж не тот ли полковник, что был убит при Эйлау? — осведомился Гюре, которому не терпелось тоже сострить.

— Он самый, сударь, — ответил старик с величавой простотой.

И он вышел из конторы.

— Выиграл!

— Ну и умора!

— Уфф!

— О!

— А!

— Бум!

— Ай да старик!

— Тру-ля-ля!

— Вот так штука!

— Господин Дерощ, вы задаром пойдете в театр, — обратился Гюре к четвертому писцу, награждая его толчком, который свалил бы и носорога.

Засим последовала буря восклицаний, криков, смеха, для изображения коих пришлось бы исчерпать весь запас звукоподражаний.

— А в какой театр мы пойдём?

— В Оперу, — объявил письмоводитель.

— Прежде всего, — сказал Годешаль, — театр вовсе не был оговорен. При желании я могу сводить вас поглядеть на мадам Саки.

— Мадам Саки не представление!

— А что такое представление вообще? — продолжал Годешаль. — Давайте выясним сначала фактическую сторону дела. На что я держал пари, господа? На представление! А что такое представление? То, что представляется взору...

— Но, исходя из этого, вы, чего доброго, покажете нам в качестве представления воду, бегущую под Новым мостом, — перебил его Симонен.

— ...то, что представляется взору за деньги, — закончил Годешаль.

— Но за деньги можно видеть тысячу вещей, которые отнюдь не являются представлением. Определение грешит неточностью, — вставил Дерош.

— Да выслушайте вы меня наконец!

— Вы запутались, дружище, — сказал Букар.

— Курциус — представление или нет? — спросил Годешаль.

— Нет, — возразил письмоводитель, — это кабинет восковых фигур.

— Ставлю сто франков против одного су, —

продолжал Годешаль, — что кабинет Курциуса есть собрание предметов, которое можно именовать представлением. Он содержит нечто, что можно обозреть за различную плату, в зависимости от занимаемого места.

— Вот уж чепуха! — воскликнул Симонен.

— Берегись, как бы я не вlepил тебе затрещину, слышишь! — пригрозил Годешаль.

Писцы пожали плечами.

— Впрочем, вовсе еще не доказано, что эта старая обезьяна над нами не подшутила, — промолвил Годешаль под взрывы дружного хохота, заглушившего его рассуждения. — На самом деле полковник Шабер давно умер, супруга его вышла вторично замуж за графа Ферро, члена государственного совета. Госпожа Ферро — одна из наших клиенток.

— Прения сторон переносятся на завтра, — заявил Букар. — За работу, господа! Хватит бездельничать! Заканчивайте побыстрее прошение, оно должно быть подано до заседания Четвертой палаты. Дело будет разбираться сегодня. Итак, по коням!

— Если это полковник Шабер, почему же он не дал хорошего пинка негоднику Симонену, когда тот разыгрывал перед ним глухого? — спросил Дерощ, полагая, очевидно, что это аргумент более веский, нежели речь Годешаля.

— Поскольку дело не выяснено, — заявил Букар, — условимся пойти во Французский театр, во второй ярус, смотреть Тальма в роли Нерона. Симонен будет сидеть в партере.

Сказав это, письмоводитель направился к своему бюро, остальные последовали его примеру.

— *...изданного в июне тысяча восемьсот четырнадцатого года* (последние слова полностью), — произнес Годешаль. — Готово?

— Готово! — откликнулись оба переписчика и писец; перья их закрипели по гербовой бумаге, и комната наполнилась шумом и шорохом, как будто сотня майских жуков, посаженных школьником в бумажный фунтик, разом зацарапалась об его стенки.

— *И мы надеемся, что господа судьи...* — продолжал импровизатор. — Стойте-ка! Давайте я перечту фразу. Я сам уж теперь ничего не понимаю.

— Сорок шесть... (Что ж! Бывает! Бывает!) и три, итого сорок девять, — пробормотал Букар.

— *И мы надеемся,* — продолжал Годешаль, перечитав написанное, — *что господа судьи окажутся достойными августейшего творца ордонанса и оценят по достоинству нелепые притязания со стороны администрации капитула ордена Почетного легиона, дав закону широкое толкование, предложенное нами здесь...*

— Не угодно ли вам, господин Годешаль,

стаканчик воды? — спросил юный писец.

— Вечно этот пустомеля Симонен! — воскликнул Букар. — А ну-ка, живо! Бери пакет и несись на своих на двоих в Дом инвалидов.

— ...предложенное нами здесь, — продолжал Годешаль. — Прибавьте: *в интересах госпожи (полностью!) виконтессы де Гранлье.*

— Как! — воскликнул старший письмоводитель. — Вы отваживаетесь составлять прошения по делу виконтессы де Гранлье против Почетного легиона, которое контора ведет на свой риск! Вы, как я вижу, простофиля! Соблаговолите сохранить копии и черновики, они мне пригодятся в деле Наварренов против богоугодных заведений. А сейчас уже поздно, я сам напишу коротенькое прошение с необходимыми «принимая во внимание» и пойду в суд...

Подобные сцены принадлежат к бесчисленным развлечениям молодости, и, вспоминая их на склоне лет, обычно говорят: «А славное все-таки было времечко».

Около часу ночи незнакомец, именовавший себя полковником Шабером, постучался у дверей г-на Дервиля, поверенного в делах при суде первой инстанции Сенского департамента. Привратник сообщил ему, что г-н Дервиль еще не возвращался. Старик сослался на то, что ему назначено прийти, и поднялся к знаменитому правоведу, слывшему,

несмотря на свою молодость, одной из самых светлых голов Судебной палаты. Посетитель неуверенно позвонил и с немалым удивлением увидел письмоводителя, раскладывавшего на обеденном столе в столовой Дервиля многочисленные папки с делами, подготовленными к слушанию на следующий день. Письмоводитель, не менее удивленный, поздоровался с полковником и попросил его присесть. Посетитель сел.

— Ей-богу же, сударь, я решил, что вы подшутили надо мной вчера, назначив для посещения такой поздний час, — сказал старик с вымученной веселостью бедняка, пытающегося казаться любезным.

— Писцы шутили, и, тем не менее, они сказали правду, — ответил старший письмоводитель, продолжая свою работу. — Господин Дервиль отвел это время для подготовки дел: он обдумывает методы защиты, подбирает доказательства, предусматривает возможные осложнения. Его удивительный ум чувствует себя наиболее свободно в эти часы, когда ночная тишина и спокойствие благоприятствуют появлению удачных мыслей. С тех пор как он практикует, вы третий по счету, кто получит совет в такой час. Возвратившись домой, наш патрон изучит каждое дело, прочтет все от доски до доски, просидит за работой пять — шесть часов, потом вызовет меня и

даст мне указания. Утром, с десяти до двух, он принимает посетителей, а остаток дня посвящает деловым свиданиям. Вечерами он бывает в обществе, чтобы поддержать необходимые связи. Таким образом, в его распоряжении остается только ночь, для того чтобы вникнуть в судебные решения, порыться в арсенале кодексов, наметить план битвы. Он не хочет проиграть ни одного процесса, он любит свое искусство. В отличие от многих своих коллег он не возьмется за любое дело. Такова его жизнь. На редкость деятельный человек! Ну, и зарабатывает он немало.

Слушая объяснения письмоводителя, старик хранил глубокое молчание, и Букар, мельком взглянув на его странную физиономию, не озаренную ни малейшим проблеском мысли, решил оставить его в покое. Через несколько минут появился Дервиль, он был в бальном фраке. Письмоводитель отпер ему дверь и снова взялся за свои папки.

Мгновение изумленный молодой стряпчий стоял неподвижно, стараясь разглядеть в полумраке необычайного посетителя. Полковник Шабер тоже застыл на стуле, и его можно было принять за восковую фигуру из того самого кабинета Курциуса, куда Годешаль предлагал сводить своих друзей. Впрочем, сама по себе эта неподвижность не бросалась бы так в глаза, если бы она не

довершала того сверхъестественного зрелища, какое являл собой весь облик полковника. Старый солдат был на редкость сух и тощ. Гладкий парик, намеренно надвинутый на лоб, придавал ему таинственный вид. Глаза были словно подернуты прозрачной пленкой; напрашивалось сравнение с помутневшим перламутром, переливающимся в свете канделябров синеватыми отблесками. Бледное, без кровинки, лицо, узкое, как лезвие ножа, если позволительно прибегнуть к такому избитому выражению, казалось лицом мертвеца. Шея была повязана плохоньким галстуком из черного шелка. Густая тень окутывала все, что находилось ниже этой грязной тряпицы, и человек с пылким воображением мог бы подумать, что это лицо — фантастическое порождение мрака, или принял бы его за портрет кисти Рембрандта, вынутый из рамы. Поля низко надвинутой на лоб шляпы бросали черную полосу тени на всю верхнюю часть лица. Эта причудливая, хотя и вполне объяснимая игра света подчеркивала в силу резкого контраста извилистые и холодные линии глубоких морщин, общий мертвенный тон этого бескровного, как у покойника, лица. И, наконец, полнейшая неподвижность тела, этот взгляд, лишенный тепла, как нельзя полней отвечали выражению какого-то унылого безумия, унижительным приметам идиотизма и придавали

лицу старика зловещее выражение, которое нельзя передать словами. Но человек наблюдательный, и тем более юрист, мог распознать на лице сраженного судьбою старца отпечаток глубокой скорби, следы бед, исказивших черты подобно тому, как дождь капля за каплей разрушает самый прекрасный мрамор. Врач, писатель, судья разгадали бы целую драму, соприкоснувшись с этим величавым уродством, напоминавшим те фантастические силуэты, которые художник, беседуя с друзьями, чертит рассеянной рукой на краешке литографского камня.

При виде Дервиля по телу незнакомца пробежала судорожная дрожь, подобная той, которая охватывает поэта, когда среди безмолвия ночи внезапный шум отрывает его от творческих мечтаний. Старик быстро сдернул с головы шляпу и поднялся со стула, чтобы поклониться молодому поверенному. Кожаная подкладка шляпы, очевидно, изрядно засалилась, и парик, прилипнув к ней, незаметно для самого полковника Шабера обнажил голый череп, чудовищно изуродованный косым шрамом, который шел от затылка до правого виска, образуя на всем своем протяжении толстый выпуклый рубец. Этот рассеченный надвое череп казался таким страшным, что ни Дервилю, ни его помощнику было не до смеха, когда грязный парик, которым несчастный прикрывал свой шрам,

внезапно поднялся над головой вместе со шляпой. Их первой мыслью при виде этой раны было: «Так вот откуда улетучился разум!»

«Пусть он и не полковник Шабер, во всяком случае, он настоящий воин», — подумал Букар.

— Сударь, — обратился к посетителю Дервиль, — с кем имею честь говорить?

— С полковником Шабером!

— С каким полковником Шабером?

— С тем, что погиб при Эйлау, — ответил старик.

Услышав эту странную фразу, писмоводитель и поверенный обменялись быстрым взглядом, говорившим: «Да он сумасшедший!»

— Сударь, — начал полковник, — я желал бы открыть мою тайну только вам лично.

Неустранимость, присущая представителям закона, — черта, достойная упоминания. То ли в силу привычки встречаться с огромным количеством людей, то ли в силу непоколебимой уверенности в надежной защите уголовного кодекса, то ли в сознании важности своей миссии юрист, подобно врачу и священнику, входит повсюду, не зная страха. Дервиль сделал знак Букару, и тот удалился.

— Сударь, — сказал поверенный, — в течение дня я не особенно считаюсь со своим временем, но

ночью каждая минута мне дорога. Посему говорите кратко и ясно. Излагайте ваше дело без отступлений. Если мне нужно будет, я сам попрошу у вас дополнительных сведений. Говорите.

Усадив своего необычного посетителя, Дервиль отошел к столу, приготовляясь слушать рассказ усопшего полковника, стал перелистывать дела.

— Быть может, сударь, вам известно, — начал мнимоусопший, — что я командовал при Эйлау кавалерийским полком. Я немало способствовал счастливому исходу знаменитой атаки Мюрата, давшей нам победу. По несчастному стечению обстоятельств моя кончина является фактом, так сказать, историческим, опубликованным в «Победах и завоеваниях», где он изложен весьма пространно. Мы прорвали три цепи русских, но враг быстро сомкнул ряды, и тогда нам пришлось пробиваться обратно, к своим. В ту минуту, когда, рассеяв русских, мы уже добирались до императорской ставки, я наскочил на крупный кавалерийский разъезд противника. Я кинулся на этих упрямцев. Два русских офицера — оба настоящие великаны — разом налетели на меня. Один из них ударил меня саблей по голове и глубоко раскроил мне череп, разрубив и каску и черную шелковую ермолку, которую я, по своему обыкновению, всегда надевал под нее. Я упал с

лошади. Мюрат поспешил нам на выручку, но и он и весь его отряд — как-никак полторы тысячи человек промчались над моим телом. О смерти моей доложили императору, и он предосторожности ради (он все-таки любил меня) пожелал узнать, нет ли какой-нибудь надежды спасти человека, которому он был обязан успехом яростной атаки. Он послал двух хирургов отыскать меня и перенести в госпиталь, сказав им, вероятно, на ходу, так как у него были дела поважнее: «Подите посмотрите, жив ли еще мой бедный Шабер!» А эти окаянные лекаришки, видевшие, как надо мной пронеслись копыта коней двух полков, не удосужились даже пощупать мне пульс и заявили, что я мертв. Таким образом, вероятно, был составлен акт о моей кончине с точным соблюдением установленной законом формы.

Услышав столь ясное изложение фактов, хотя и странных, но все же весьма правдоподобных, молодой поверенный отложил бумаги, оперся локтем на стол и, склонив на руку голову, внимательно взглянул на своего посетителя.

— Знаете ли вы, сударь, — прервал он старика, — что я поверенный графини Ферро, вдовы полковника Шабера?

— Моей жены? Знаю, знаю, сударь. Я обращался к десяткам юристов, но все мои попытки остались тщетными: меня принимали за